

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ

В воспоминаниях друзей и коллег

Предлагаемые вниманию читателей мемуары имеют свою предысторию. В 1989 году на Центральной студии документальных фильмов снимался фильм «Не умирай никогда», посвященный Андрею Платонову. В первоначальном замысле основой кинорассказа должны были стать синхронные интервью с людьми, близко знавшими писателя. Такие люди были найдены, беседы с ними сняты и записаны. Но в процессе работы сформировалось новое решение фильма и от интересных воспоминаний о писателе пришлось отказаться. Тем не менее, осознавая их большую документальную ценность, создатели киноленты сохранили эти материалы в полном объеме.

В. А. Трошкина

Рука об руку...

Кажется, в 1920 году мы переехали из Ленинграда (мы сами ленинградцы) в Воронеж, папу перевели туда работать. Приехали всей семьей. Время было страшно голодное...

Сестра поступила в Воронеже в университет на филологическое отделение. И за ней стал ухаживать профессор Малюченко — известный в городе человек. Он-то и познакомил Андрея Платонова с сестрой, с Мусей. Андрей пришел к нам в дом такой крепкий, ладный, но у него какой-то особый вид был, не как у всех. Мрачноватый и малоразговорчивый Андрей был. На нем всегда была гимнастерка, вечно засаленная, потому что он постоянно возился с какими-то механизмами, инструментами, все изобретал, ремонтировал чего-то. В общем, начал он к нам ходить. Папа и мама очень полюбили Андрея. Потом познакомились с его семьей.

Мы жили в центре Воронежа, у большого театра, в доме, который принадлежал раньше домовладельцу Чехмакову. Конечно, жили там не одни. Нам принадлежали две комнаты. Одна большая, метров тридцать, а другая метров восемнадцать. Через большую ходили в меньшую.

Семья Андрея жила не так далеко от нас, в Ямской слободе, кажется. Она была около леса. Дом их был как барак: деревянный, длинный. И когда я первый раз пришла к ним, поразила даже: одна большая комната, и стоят скамейки, стол большой во всю комнату и печка русская. Мне, городской, вначале странно все это было видеть. Жили они очень трудно, большая семья такая. Отец у них был железнодорожник, где-то в мастерских работал. Любовь Андрея к паровозам, видно, от отца пошла. В общем, с тех пор дружба между нашими семьями осталась на всю жизнь.

Андрей был старший. Еще братья были — Петр, Сергей и Митя и сестры — Надя и Вера. С Верой я особенно подружилась. Мы были ровесницами, мне было двенадцать в то время, и мы вместе выступали в детском самодеятельном коллективе. Надя и Митя — подростки, очень хорошие, умные были. И вот они однажды поехали в пионерский лагерь. Я тоже должна была с ними ехать, но задержалась: на белье не были сделаны метки. И вдруг через некоторое время, когда я с одним мальчиком должна была поехать, сообщают, что в лагере погибли подростки и учителя, всего 21 человек. И Надя с Митей тоже погибли. Все они отравились грибами, которые там собрали.

Так случилась первая трагедия в семье Платоновых...

Познакомил Андрея с сестрой, как я сказала, Малюченко, который одно время ходил к нам уже как жених. Сестра была очень красивая, и Малюченко ко всем ее ревновал, но почему-то он надеялся, что Андрей ему не соперник, что не сможет Машу отбить. Андрей не был красавцем, но был симпатичным в то время. В общем, он отбил сестру у этого Малюченко, и они поженились... Папа с мамой решили отдать молодым меньшую комнату. Так что я жила рядом с ними и в Воронеже, и позже в Москве. Вскоре у них родился ребенок.

Андрей в то время много изобретал. У нас была кладовка, и у него там всякие машины стояли. Когда Андрей там работал, он часто меня спрашивал: «Ну, Валюша, как мне лучше сделать: так или эдак?» Просто так спрашивал, для дружеского общения. Он же знал, что я в этом все равно ничего не понимаю. А вот с папой они быстро нашли общий язык. Он тоже был большой фантазер, любил возиться с инструментом. И они в этой кладовке часто о чем-то говорили. Андрея папа очень полюбил за скромность, честность. Андрей о себе никогда не думал, жил для людей. Никогда не тянулся к высокопоставленным. Всегда был с простым человеком. А вот позже уже с моим мужем очень подружился. Они ходили в народ, приводили домой бродяг каких-то ночевать. Приведут какого-нибудь обездоленного, обиженного, пьющего, опустившегося. Они таких вот находили и старались возродить их к жизни. Правда, из-за этого ссоры были в семье.

Андрей страшно беспокоился за землю. Он ее воспринимал как живую. Очень любил землю. Помню, как он беспокоился, что земля у нас высохнет. Мне кажется, что и мелиорацией он стал заниматься именно из-за этого. И электрификацией тоже. Хотел, чтобы люди скорей стали жить лучше, ведь кругом разруха была.

У нашего дома с большими подвалами стояли старинные сараи, и Андрей с папой стали устраивать в одном из них мельницу, потому что мельница была далеко и люди мучились: негде было молоть муку. Андрей делал все основные колеса и еще что надо, отец ему помогал. Работали дотемна. И вот в этом сарае, в самом центре Воронежа, они сделали мельницу. Написали объявление, что они даром мелют муку. Думали, наверное, что вот-вот коммунизм придет и все без денег будет.

В первый же день Бог знает что делалось: понаехало к нам со всех сторон, со всех деревень тьма-тьмушая народу. Но, кажется, всем смололи. А на второй, третий день стали уже выдыхаться, и через несколько дней все дело заглохло: видно, пороку не хватило и денег. Прогорели, в общем.

Андрей в это время занимался мелиорацией в селе Рогачевка под Воронежем и там же проводил электричество. Надумали они с папой новое дело: устроить для крестьян этого села кино. Там была старая большущая церковь, помню, высокая такая. Так вот они в ней поставили какой-то мотор, достали аппарат и все необходимое. Раздули большой самовар, а меня около него поставили — вроде буфета получилось. Сказали, чтобы я чай перед кино наливала и по леденцу бесплатно всем давала. Время было тяжелое, а они это все за свой счет устраивали. И вот наконец пустили первое кино. Конечно, на это чудо собралась вся деревня. Электричества-то народ не видал еще, не только кино. Но, к сожалению, эта затея просуществовала тоже недолго, не больше недели, наверное. Прогорели опять.

Так Андрей все время старался что-то сделать для людей, но возможностей не хватало. Никто же не поддерживал его.

В Рогачевке, где он мелиорацию проводил, Андрей привлек своего брата Петра. Они сделали орошение, и там зацвели сады. Когда осенью поспели фрукты, вдруг к нам домой привозят — не помню, на машине или подводе — огромное количество груш. Андрей даже в ужас пришел: куда девать? Всю кухню завалили. А у меня братьев было еще трое, и Андрей сказал нам: «Вы собирайте всех воронежских ребят, пусть они приходят, едят сколько хотят и с собой берут, чтобы все груши разобрали».

В этом был весь Платонов. Он всегда хотел сделать что-то доброе и полезное для людей.

В нашей воронежской квартире Андрей с сестрой жили долго. Голодное было время, но как-то существовали. Андрей уже начал заниматься литературой. Много печатался под псевдонимом и под своей фамилией в «Воронежской коммуне». Встречался с писателями из Москвы. Все его ценили очень. Но потом что-то такое случилось, не могу понять. Андрей как-то отошел от литературы, стал заниматься только мелиорацией. Его сделали губернским мелиоратором, вызвали в столицу. Он уехал туда один, потом вернулся и сказал, что надо переезжать в Москву, что он остается губернским мелиоратором, но будет находиться в Москве. И поехали в Москву: сестра, Тотик — их сын, я и Андрей.

В Москве мы жили в Центральном Доме специалистов, он находился где-то в центре, недалеко от Лубянской площади. Там нам дали комнату и к ней что-то вроде кухоньки. Собственно, этот дом был общежитием: все комнаты, комнаты... и жили в них мужчины-специалисты. Из женщин были только мы с сестрой и секретарша начальника Дома специалистов, фамилия которого, помнится, была Алексеев.

Этот период был еще довольно терпимый для нас. Андрей получал зарплату, его печатали. Потом он стал заниматься только литературой, а мелиорацию бросил. Поэтому ему предложили выехать из общежития. И начались мучения с жильем. Жили где придется: в каком-то подвальчике в Москворечье, узком, как коридорчик. Слава Богу, его хоть печатали. Однажды он получил приличные деньги. Но он был широкой натурой, деньги для него мало значили, и их, конечно, быстро прожили: сразу назвали много народу. У нас вообще-то бывали люди: писатели, артисты, режиссеры.

Андрей был замечательный собеседник. Я не знаю, чем он брал, — наверное, умом, ведь он был не такой уж разговорчивый. Но даже мужчины прилипали к нему, кто хоть раз с ним поговорил.

Работал он очень много: день и ночь сидел. Но тучи уже начали сгущаться. «Сон Макара» («Усомнившийся Макар». — *Ред.*), кажется, было первое, за что его начали ругать. И началась у него мученическая жизнь. Его совсем перестали печатать, денег не было. Ермилов — такой был критик, которому все писатели смерти желали, — Андрею просто жизни не давал, преследовал до конца, даже когда Андрей умирал, ругал его за рассказ «Возвращение». Этот Ермилов в Переделкине дачу огромную имел, да многие писатели из «послушных» дачи имели да в санатории ездили. У Андрея же никогда не было ни дач, ни санаториев. И с квартирой намучились.

На каком-то совещании в Доме литераторов Смеляков, с которым Андрей очень дружил, дал пощечину этому Ермилову и сказал: «Вот тебе за Платонова». Ярослав ведь тоже был воронежский и, между прочим, когда-то в молодости ухаживал за моей сестрой.

В общем, жили Платоновы тяжело. Так, иногда что-то перепало за случайные публикации под псевдонимами. Одно время они снимали летнюю комнату на чердаке в Покровском-Стрешневе в каком-то стройтресте. Прожили там одно лето. У меня письма есть, где он писал, чтобы ему зимнюю комнату дали, но ему ничего не давали, везде игнорировали. И они решили поехать в Ленинград. К тому времени папа с мамой у нас разошлись, и отец у нас жил в Ленинграде, а Тошка очень любил деда и увязался с ним в Ленинград. Наскребли кое-какие деньги, папа помог чем мог и поехали. Но начались новые испытания: в Ленинграде сильно заболел Тоша, и его положили в больницу. Он заболел корью, потом скарлатиной и дифтеритом, и это дало осложнение на ухо. Это время для них было ужасным. Подходила зима, а в Москве у них, кроме летнего чердака, ничего нет. И из Ленинграда не уедешь: Тошка болеет страшно. Ему нужно было делать операцию — трепанацию черепа, притом частным образом, а денег не было. У меня от Андрея и Маши много писем того периода. Сестра сорок дней лежала вместе с Тошей в палате. Писала, как при ней умирают дети и как Тоша умирает. Она уже не верила, что он выживет. Писала, что некому им помочь. Я думаю, многие просто боялись с ними общаться, ждали, что Андрея вот-вот заберут. В общем, Андрей и сестра были в отчаянии. Операцию Тоше все же сделали, но до конца жизни у него болело ухо.

Когда вернулись из Ленинграда, жить было негде. И тут им помог Пильняк. Он уступил им комнату, и они немного в ней пожили, может, не больше месяца, — просто перебились. А уж потом, не помню каким образом, они получили квартиру на Тверской. Андрей много работал, ходил по редакциям, но редко ему удавалось что-то напечатать под псевдонимом. На Тверской у них иногда собирались люди. Бывали Шолохов, Фадеев, Жорж Чернявщук, замечательный такой человек, хотя и говорили про него разное. Его жена была дочь Макаренко. Такая крупная, красивая и властная. Старуха такая приходила по фамилии Усиевич. Басом говорила, курила, пела озорные песни. Она, кажется, критиком была. Андрей ее очень уважал, и они часто интересно разговаривали, пели. Андрей любил музыку, какое-то время у них было пианино. Как ни нуждались, а взяли напрокат. Моя сестра очень хорошо пела, ей аккомпанировал Игорь Сац, брат композитора. Шолохов любил петь с мамой моей, у нее голос хороший был, дискант такой чистый. Они часто пели в два голоса «Не искушай». Шолохов в то время был очень простым человеком. придет, бывало, «Барыню» спляшет. Это потом он уже отделился. Уж когда Андрей умирал, он совсем мало у них бывал, но все-таки лекарствами как-то помог. А Андрей очень любил песни «Сурок» и «Посмотри, как дивно море». Играл эти вещи одним пальцем на пианино. Вот пишет, пишет, бывало, и, чтобы отдохнуть, садится за пианино, начинает наигрывать. Очень любил, когда Муся пела. А когда Андрей познакомился с моим мужем Петром, они очень сошлись характерами и сильно подружились. Они любили петь «Выхожу один я на дорогу», «Гори, гори, моя звезда» и «Застольную шотландскую».

Муж мой, Петр Артемьевич, был очень эрудированным человеком, помнил наизусть любые исторические даты, много читал, любил поэзию. За Есенина даже выговор по комсомольской линии получил. Андрей называл его ходячей энциклопедией. И так они подружились, что долго не могли быть друг без друга. Мы-то с мужем жили неподалеку. Какое-то время мы снимали комнату на даче в Битцах, рядом с железной дорогой. когда Андрей приезжал, они уходили на всю ночь слушать паровозные гудки. Раньше-то Петр не любил, по-моему, особо паровозы, а тут — сидят, слушают. Им было интересно друг с другом.

Я очень любила Тотика, потому что жила много в их семье и мне приходилось быть у них вместо хозяйки. Сестра и работала, и училась, а я больше с Тотиком занималась. Он мне почти как сын был, я страшно его любила. Тошка был очень красивый парень. В четырнадцать лет ему давали все девятнадцать — такой он был стройный, высокий, красивый. Наверное, в мать. Не только девушки, а и женщины на него заглядывались.

Надо сказать, что Тошка хорошо танцевал, да и я неплохо. И хоть была намного старше, любила ходить с ним на вечера. Я работала тогда в правлении Госбанка на Стасинском, и у нас всегда были хорошие вечера с артистами, с танцами. Как-то восьмого марта я пригласила Тошу к нам на такой вечер. Был это тридцать седьмой или тридцать восьмой год. А Тошка говорит: «Ты знаешь, мы вместе с ребятами уже договорились собраться вместе, но, пожалуй, я сперва с тобой схожу, а потом к ним пойду».

Обычно когда Тошка танцевал, все расступались и смотрели на него. Так же было и в этот раз. Я уступила танец своей знакомой Наде, хорошая была такая девушка. Она Тотика очень понравилась. И вот они танцуют, все расступились, смотрят. И вдруг Надя прекратила танцевать, подходит и говорит мне: «Знаешь, я пришла в носочках, а все смотрят на нас, я сбегая чулки надену». А жила она где-то неподалеку. И вот из-за такой мелочи, как эти носочки, может быть, у Тоши и жизнь бы по-другому сложилась. Дело в том, что эта Надя так понравилась Тотика, что он уже раздумал было идти на дружеский вечер. Он терпеливо ее дождался, но ее все не было почему-то, и наконец Тоша сказал: «Ну ладно, Валь, видно, она не придет, я пойду к своим ребятам». И ушел. После вечера вдруг звонит сестра и спрашивает, где Тоша. Я говорю, что он был со мной, но потом ушел к ребятам. В общем, искали его и не могли найти. Оказалось, что пропал он не один, а еще семь ребят. Их искали несколько дней. Все они были детьми писателей, которые оказались в немилости. Через несколько дней выяснилось, что школьников забрали за политические анекдоты. Шолохов тогда помог их разыскать.

В общем, Тошу сослали по 58-й политической статье — до десяти лет — на Север, в какие-то шахты работать...

Прошло несколько лет. Вернулся Тошка. Как только приехал домой, позвонил, он меня любил: я его нянчила. Прибежал весь обросший, страшный, я его не узнала. Это был столетний старик. Зубы все вставные были. Рассказывал, что попал в камеру к политическим. Один среди них мальчишка. А там были в основном пожилые — ученые, профессора. Рассказывал, когда его в первый раз привели на допрос, то заставляли подписать совершенно нелепые вещи, что он якобы хотел взорвать Кремль, кого-то убить. Бог знает, что ему приписывали. Он отказался, конечно. Ему зубы сразу все выбили да еще легкие отбили — кашлял. И когда его привели в камеру, то эти старые люди посоветовали ему все подписать: «Если не подпишешь, то все равно жить не будешь, тебя изувечат. Мы все подписали, что они требовали». И Тоша подписал все бумаги не глядя, которые ему предъявляли. Тогда его оставили в покое. Жил он среди ученых людей, для которых он был ребенок. Они всему его учили, и он вышел на волю очень грамотным, сколько всего знал! Он привез с собой даже свою рукопись, толстую такую, видно, тоже к литературе потянуло. Но она потом затерялась куда-то.

Пришел Тоша из лагеря где-то за полгода до войны. Устроился работать, женился. Они жили все вместе на Тверской. И тут война, эвакуация. Андрея с семьей эвакуировали как-то уж очень срочно, даже не дали времени собраться, а у них ни денег, ни вещей теплых. На Андрея было летнее пальто, сестра и Тошка тоже полураздетые. И поехали они в Уфу. Андрей бросил все рукописи в квартире, наказал моему Петру приглядывать за ними; с собой взял только «Путешествие из Ленинграда в Москву (по следам Радищева)» — был у него труд такой, писал его лет восемь. Эта рукопись лежала у Андрея в небольшом коричневом чемоданчике, когда он в эвакуацию ехал. На ночь в вагоне он даже привязывал его к руке, когда лежал на верхней полке. И однажды этот чемоданчик в дороге украли, то ли срезали с руки, то ли еще как. Воры ли, подсланные специальные люди? Только для Андрея это была трагедия. Он считал эту книгу самой значительной.

В Уфе Платоновы жили ужасно. Есть было нечего, продавать нечего. Тошка приехал со своей Тamarой насквозь простуженным. Ехал в теплушке, в легком пальто. После тюрьмы был еще слаб. В Уфе его сразу направили в военкомат проверять. Тоша им говорит, что у него горло болит, а ему на это — здоров как бык, симулянт! Прошло два месяца, и он совсем свалился — началась скоротечная чахотка. А кормить, поддержать Тошу нечем. Осталось много трагических писем той поры от Андрея и сестры ко мне в эвакуацию и к мужу в Москву, где его оставили в народном ополчении.

Андрей, как только приехал в Уфу, стал добиваться возвращения в Москву, чтобы оттуда — на фронт. Ведь на Урал его насильно выпихнули. Но пропуска в Москву долго не давали. Чтобы вернуться, Андрей продал свое единственное демисезонное пальто.

В Москве в их квартире поселились дворники и много рукописей пожгли в печке. Осталось то, что сумел сохранить мой муж Петр. Тоше становилось все хуже, он уже не вставал. Муж писал мне в эвакуацию, что невозможно смотреть на Тошу, невозможно передать, как он хотел жить. И когда умирал, просил завести патефон с песней «Прощай, любимый город». Потом попросил мать и отца поцеловать его в губы. И вот так тихо умер. Может, с этого начался у Андрея туберкулез? Хоронить Тошу оказалось не в чем. Петр отдал единственный костюм и ботинки, тапочек не было. Все страшно переживали Тошину смерть.

Андрей уехал на фронт корреспондентом «Красной звезды», там его контузило, кроме того, на фронте он заболел туберкулезом. Пришел домой с войны совсем больным. Но продолжал постоянно работать, писать. К нему приходили Фраерман, Гроссман, Гумилевский, а большинство боялись к нему ходить, потому что до самой смерти за Андреем была слезка.

И все годы рядом с ним была моя сестра Маша. Они любили друг друга, несмотря на то, что всякое бывало, — у сестры характер был не ангельский. Сестра прожила с ним труднейшие годы. Сколько людей предлагали ей руку и сердце, она ведь была очень красивой, но

у нее даже в мыслях не было бросить Андрея. Так прошли они вместе рука об руку через эту мученическую жизнь.

Давид Ортенберг ПРАВДА ЖИЗНИ И ПРАВДА СМЕРТИ

В сентябре 1942 года, в труднейшие дни нашего отступления, Василий Гроссман прислал со специальным корреспондентом «Красной звезды» записку, где просил приютить Андрея Платонова, взять под свое покровительство этого замечательного, как он выразился, писателя, который беззащитен и неустроен. Вскоре ко мне в кабинет зашел Андрей Платонов — высокий человек в простой солдатской шинели, какую носили в ту пору не только военные, но и гражданские лица. Шинель сидела на нем мешковато, и вообще он показался мне сумрачным, но это было только первое впечатление. Его голубые глаза, светившиеся из глубины, говорили о человеке незаурядном. Что я знал о Платонове? Знал, что в тридцатые годы его честная, правдивая повесть «Впрок» вызвала неудовольствие Сталина...

Андрей Платонов был зачислен специальным корреспондентом «Красной звезды» с окладом тысяча двести рублей. Конечно, по тем временам это были деньги. Мы условились, что никаких оперативных заданий давать ему не будем, просто советовали ему наблюдать на фронте, в войсках, боевую жизнь и писать о том, что ляжет на душу.

Его одели в военную форму, на петлицы прицепили по капитанской шпале, и отправился Андрей Платонович на фронт к героям своих будущих очерков.

Платонов был человеком мужественным, самоотверженным. Он обходил штабы фронтовые, армейские, даже дивизионные, не задерживаясь там, а свой путь держал в полк, в батальоны, в роты, в окопы, в блиндажи наши, встречаясь с героями своих очерков, вел с ними беседы, составлял анкеты, брал интервью. Но Платонов любил слушать. Через отдельные реплики, слова он понимал, чувствовал настроение бойца, его душу. Вот почему он и рвался на передний край, где по-настоящему можно было увидеть боевую жизнь и людей в экстремальных условиях.

Вспоминал такой факт. Вместе с нашим боевым корреспондентом Павлом Миловановым приехали они в дивизию генерала Красноглазова, которая вела очень сложный бой в так называемом «слоеном пироге», — обстановка была не ясна даже генералу. Он корреспондентов не пускал, запрещал появляться им в полках. Вышли они из блиндажа генерала, Платонов говорит: пошли, мол, в полк, в роты, в этот «слоеный пирог». Досталось им немало, конечно, но Платонов оставался Платоновым, и Милованов с ним ничего не мог сделать...

Шли бои на 1-м Белорусском фронте в направлении Могилева. Командующий дал одноместный самолет, Милованов сел, чтобы отправиться в район боев. А Платонов тоже увязался и стал настаивать, чтобы его взяли. Тогда выпросили они от командующего двухместный самолет, и вскоре мы получили от Платонова подряд три очень интересные оперативные корреспонденции: «Наступление на Запад», «Дорога на Могилев» и «В Могилеве». Я говорил, что мы не рассчитывали на оперативные его корреспонденции, а здесь он обогнал всех наших оперативников, и все его корреспонденции были напечатаны в день освобождения Могилева. Помню, зашел ко мне Андрей Платонович, я говорю ему: «Андрей Платонович, на вас поступили жалобы». Он повел плечами, лицо его вытянулось. Я ему говорю: «Жалуются, что вы лезете куда не надо. Иногда даже больше, чем надо корреспонденту, и больше, чем мы требуем от него». Он рассмеялся и сказал, что эту жалобу он переживет. А потом стал объяснять, что, мол, не может писать о войне, если своими глазами ее не видит. Больше того, сказал, что не имеет права писать о войне, о солдатах, если с ними не переживал все трудности и опасности войны. А это может быть только рядом с солдатами. Его объяснение импонировало нам, ибо

мы считали это законом жизни наших корреспондентов, и Платонов достойно, может, даже больше, чем нужно, его выполнял...

Как-то он приехал в полк. Ему рассказали о герое прошедшего сражения. Он заинтересовался. Ему говорят: сейчас мы вызовем его из роты, и вы, мол, с ним поговорите. Андрей Платонович категорически отказался вызывать: «Нет, я пойду к нему сам». Он считал невозможным вызывать человека с передовой, чтобы не подвергать жизнь журналиста опасности. Он, как правило, никогда не ездил в легковой машине. У нас везде, в каждом корпункте была машина, и, конечно, его усаживали, но он не садился: «Нет, поеду попуткой». А ехал попутной машиной потому, чтобы лишний раз побыть с солдатами, хотел слушать их, видеть их.

Он был человеком скромным, молчаливым, открыто свои чувства почти не проявлял (не каждому, во всяком случае). Бывало, зайдешь в редакционную комнату. Там сидят два человека: Андрей Платонов и Василий Гроссман. Сидят и молчат — молчуны были. Не тревожишь их, уйдешь потихоньку.

Вот один из эпизодов. Командировали его на 1-й Украинский фронт, летел он вместе с писателем, тоже нашим специальным корреспондентом Борисом Галиным. Было холодно, мерзли они очень. Пролетают Киев. В это время Платонов открыл колпак кабины и смотрит, а Галин кричит: «Ты что делаешь? Заморозишь нас, закрывай скорей!» А Платонов не закрывает, смотрел-смотрел и говорит: «Киев, мать городов русских!» — и на глазах у него появились слезы. Его чувствительность, душа его проявлялись особенно в его очерках и рассказах. Один писатель сказал, что он не рассказывал, а выливал из души то, что он видел и хотел сказать. Платонов напечатал немало очерков и рассказов в нашей газете (вот бы собрать все воедино!). Их пересказать невозможно, как невозможно пересказать стихи. Их надо читать. Пересказать невозможно, но хочу привести одну выдержку из газетной публикации.

Платонов прошел большой путь, начиная с воронежского района и кончая Берлином и Эльбой. и во время Курской битвы он написал два очерка, один из них назывался «Два дня Никодима Максимова». Это очень притягательный очерк, написанный эмоционально, с глубоким проникновением в человеческую психологию. Вот одна из таких философских деталей:

«В одной избе плакали дети сразу в три голоса, и мать-крестьянка, измученная своим многодетством, шумела на них:

— А ну замолчите, а то сейчас всех в Германию отправлю! Вон немец за вами летит!

Дети приумолкли. Никодим Максимов <это солдат> улыбнулся: стоял свет и достоялся, люди государствами детей пугают!»

Что можно лучше сказать о сути войны, о ее размахе, чем вот этими двумя фразами.

Я проработал с ним не один месяц в «Красной звезде». В моей памяти он остался большим человеком. Мы очень дорожили им, любили его. Стоило прочитать его первый очерк «Броня», чтобы сразу влюбиться в этого писателя и понять, что это человек большого ума, сильной души и неизбывного таланта. А остальные его очерки подтвердили, что мы не ошибались.

В «Красной звезде» работали Толстой, Шолохов, Эренбург, Симонов, Павленко, Тихонов, Катаев. Всех не перечислишь. Работали дружно, отношения были не такие, как бывало в Союзе писателей. И отношение всех этих писателей к Платонову в газете было самое доброе, сердечное. Его очерки отличались тем, что в них была правда войны, правда жизни. У него не было полуправды. Он писал правду жизни, а на войне — и правду смерти. Не было у него выспренных фраз, не было ура-победных восклицаний. Он писал, как и жил, достойно и честно, не скрывая того, что пришлось пережить и живым, и мертвым.

М. М. Зотов
«ОКОПНЫЙ КАПИТАН»

С Платоновым мы встретились на 1-м Украинском фронте, было это в марте 1944 года. Платонова до фронта я не знал и не читал.

Люди мы с ним были разные даже по возрасту. Мне было тогда неполных тридцать три года, Платонову — сорок пять. В наших глазах он был пожилым человеком, и против него я выглядел мальчишкой. Еще больше разнились мы по интеллекту. Он был человеком образованным и мудрым, чего мне явно не хватало. Хотя жизнь я тоже прожил не сладкую. Ведь я без отца остался трех лет, а без матери — на шестом году. Но Платонов, конечно, знал жизнь неизмеримо глубже, чем я. А главное, он был интеллигент в самом высоком смысле слова, чего о себе я сказать не могу. Тем не менее мы хорошими товарищами стали.

В Славути я приехал, когда только выбили оттуда немцев, и мы хату заняли, где были сплошные нары с соломой, еще не убранной после немцев. В хате этой жила солдатка с двумя детьми. Нас, краснозвездцев, было десять человек. Спали все вповалку на этих нарах. Андрей вывесил стрелку, указывающую, где находится наше «хозяйство», с надписью «На дно» — это горьковское. Нам всем Андрей раздал клички героев горьковских, себе взял кличку «Лука». Эта кличка сохранилась, по-моему, только за ним одним до самых последних дней, по крайней мере среди нас.

Хозяйка, у которой мы стояли, жила очень тяжело. Мы получали офицерский паек, который, правда, мало чем отличался от солдатского. Вот мы ее и подкармливали с детишками. Наступала весна. У хозяйки огород. Платонов говорит: «Ребята, надо женщине помочь». Собрались мы на субботник. У Хамзора, нашего корреспондента, сохранилось фото. Платонов работал, может, больше всех, но в снимок не попал. Вообще Андрей сниматься не любил. Он даже в этом скромник был. Хамзор говорит после работы на огороде: «Давайте я вас сниму», а Андрей куда-то, видимо, улизнул. У Андрея было много таких своеобразных черт характера. Человек он был мягкий, но в то же время мог сдачи дать за хамство — хамов не терпел. И резко обрезать мог...

На Украинском фронте было очень много писателей из других газет. например, Виктор Полторацкий «Известия» представлял; был Миша Прягин, он представлял «Правду»; Костя Симонов не часто, но наезжал. Помню в Славути такой эпизод: собрались как-то мы все (что редко бывало), наш шофер Кафий выставил чугунок картошки. Только сели — распахивается дверь, появляется красавец Симонов (он тогда красивый был) и говорит: «Так! А в редакции-то думают, что вы все на фронте, на передовой, а вы вот здесь отсиживаетесь, за чугуном картошки!» Андрей был к нему ближе нас всех, они обнялись. Андрей кричит: «Кафий! Ложку полковнику!» (тогда Симонов подполковником был). Кафий вытаскивает из-за голенища ложку, а Андрей говорит: «Ты ее хоть оближи». Кафий отвечает, что мыл ее.

Здесь Платонов немножко поиграл. Платонов и Симонов товарищами были, но друзьями не были, а Платонов на правах старшего иногда подтрунивал над ним. Над Симоновым вообще как-то тяготело тогда его барское происхождение. И с Твардовским у них были поначалу такие отношения: что это белая кость, а это черная. А поиграл Андрей так: вскочил и говорит: «Подождите, товарищ полковник, я сейчас рукавом смету, чтобы чистенько было, а то у нас тут вшей много!» Вшей-то у нас, кроме немецких, пожалуй, не было. Ну это, конечно, шутка была.

Платонов болел, а мы даже не знали, что он болен. Он никогда не жаловался. Я узнал об этом чуть ли не перед его отъездом с фронта, а уехал он в конце лета сорок четвертого года. Внешне был худой, желтый, морщинистый. И покашливал. Это не тот Платонов, который глядит молодым с фотографий. Он выглядел очень стариковато. Видимо, это туберкулез сказывался. Выглядел-то он плохо, но никогда не манкировал своими обязанностями, а лез в любую дыру. Он был прожженный окопный капитан, его так и звали — «окопный капитан».

Шинелишка у него, как ни странно, была солдатская. А у нас у всех офицерские, а его как экипировали в солдатскую еще в Москве, так он и проходил в этой солдатской шинели до конца. Никто его с виду за писателя и не принимал. Могли принять за корреспондентского шофера или что-то в этом роде. Он любил поговорить с солдатами, а не генералами. Симонов все-таки больше вращался среди генералов и командующих. Его так и называли: «генеральский писатель», «генеральский корреспондент»... Платонова не знали как писателя, а Симонова знали все, особенно после «Жди меня» и по пьесе «Парень из нашего города», она еще до войны шла. Поэтому, когда он приезжал куда-то, его вели к командующему или члену военного совета. Платонова не знали, да и он ни на шаг к ним не подходил, а стихия его была именно окопники. Среди них он был свой человек, ел с ними из одного котелка, а с любым начальством — на большой дистанции.

Я не помню таких случаев, чтобы Платонов жаловался на свою судьбу, на то, что его не печатают. Он был из той породы людей, которые не жалуются, не плачутся. Жизнь его мотала и была жестоко. Но даже мы, близкие товарищи, не слышали от него, чтобы он посетовал на это. Иногда с юмором все было.

Однажды приехавший к нам в Славуту Симонов рассказал, как он добирался. Пообедали они с летчиком в Киеве перед отлетом, выпили немножко. «Я, — говорит Симонов, — спросил летчика: «Сколько тебе надо?» — «Ну, грамм полтора ста»». «Я еще посмотрел на него, — рассказывает Константин, — и посчитал, что это ему как слону дробина. Ну а когда поднялись, того развезло. Он странные круги начал выделывать и смотреть на дорожные указатели: то ли карту забыл, то ли ее у него совсем не было». В общем, приземлились они в Славуте уже впотьмах, еле сели. Андрей говорит: «Да, это сюжет для юмористического рассказа». Тот отвечает: «Дарю!» «Да я же не юморист, — отказывается Андрей, — и потом, к подаркам сюжетов я очень осторожно отношусь». Был у него, говорит, такой случай. Приближалось 150-летие книги Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», и журнал «Октябрь» придумал, чтобы поехал современный писатель по этому же маршруту, с теми же остановками, как у Радищева, — Бологое, Тверь, и на каждой остановке писатель будет делать какую-то зарисовку. Вот и предложили ему проехать по этому маршруту и отобразить новое в характерах. Заключили они договор, сел в поезд вместе с супругой. В купе попался им то ли начальник ипподрома, то ли коннозаводчик питерский — такой разговорчивый еврей, одесский балагур, лихой выпивоха. Они выпили коньяку одну-две бутылки. В общем, пока доехали до Питера, договорились, что в Москву поедет Андрей только на лошадях. Попутчик сказал: «Голубчик! У меня в музее на конезаводе стоит возок то ли Анны Иоанновны, то ли Софьи. Я тебе ямщика найму первосортного, он у меня работает конюхом. Раньше он купцов возил, теперь тебя повезет». Поехали к ямщику. Приехали на Невский, куда-то на верхний этаж заводят, и хоть это на Невском, но обстановка совершенно деревенской избы. Сидит дядька с бородой, с блюдечка чай хлебает вприкуску. «Зачем пожаловали?» — спрашивает. «Хочу я тебя попросить, Васильич (или Степаныч), свезти писателя в Москву». — «Дак чунка ж теперь есть, кто же теперь на лошадях-то ездит? Да и на чем повезу?» — «Да любых возьми на конезаводе лошадей и возок возьми Анны Иоанновны». Тот говорит: «Тяжесть-то какая!» — «Ничего, тройку запряжем!» (Это я рассказываю со слов Платонова, за достоверность не ручаюсь — Андрюша мог и сфантазировать иногда. Но тут, видимо, правда в основе есть.) Конюх сказал, что на подготовку коней ему надо четыре дня.

Марию Александровну отправили обратно в Москву на поезде и через неделю тронулись в путь. Все он описал, что в пути видел, только, говорит, черт знает, как это получилось, но все мне попадались какие-то пережитки капитализма... Вот интересно, уцелела эта рукопись или не уцелела?

Да и корреспонденции его не очень часто шли в «Красной звезде». Насколько я был влюблен в Андрея по-товарищески, настолько я его не понимал и сейчас еще не совсем понимаю то, что он пишет. В разговоре он человеком обычным был — язык, конечно, острый, чистый, интересный, но вот такого фигурничания у него не было, как при писании.

Все корреспонденции написаны им на коленке. Хоть я по долгу службы и должен был его тексты править, этим не занимался. Он был вольный, но опубликованные корреспонденции написаны не по-платоновски, потому что в Москве, наверное, к ним прикладывали руку казенные стилисты, делая из зеленой сосны телеграфный столб.

...Когда начали брать города один за другим, у нас был такой порядок: в газете должен быть корреспондентский комментарий. Метались мы туда-сюда, а в особенности доставалось мне, потому что такую оперативную информацию старший вел, то есть я. Хоть умри, я должен был к определенному часу 50 строк передать, именно в срок. Что выручало? По теперешним временам это называют брифинги, а по тем временам проще все было. Выходил к нам в назначенное время Чурилов (такой был подполковник в оперативном отделе) и все докладывал. Этих «брифингов» в день было несколько, потому что в день несколько городов брали. Андрей говорит: «Сиди пиши, я сейчас схожу в штаб и все напишу тем же суконным языком, что скажет Чурилов. Тебе и редактору это понравится больше того, что я бы написал. Я не мастер писать корреспонденции, так что тебе перескажу точь-в-точь». Действительно, пойдет и все точь-в-точь передаст мне, а я обрабатываю. Это совсем не его, не платоновская работа была, но он никакой работой не брезговал, даже такой подсобной, черновой, а это было важно на фронте, и без взаимовыручки нельзя было. Взаимы давали друг другу факты: я там был, а коллега из другой газеты не был или наоборот, поэтому обменивались.

Я уехал с 1-го Украинского в конце сорок четвертого, а Андрей — в конце лета: что-то со здоровьем было. Только тогда я узнал, что туберкулез у него. Когда прощались, полез я целоваться, а он говорит: «Не надо, Миш...»

Платонов был неизменным капитаном. Как дали, так и был в одном звании. Мы получали звания, ордена, а он — нет. После войны в запас ушел майором. Может, медалки какие и были. Мы вот понахватали всего, на виду были, а он — в тени. Награждали того, кто у фронтового начальства на виду был. Хамзора, конечно, награждали, он с фотоаппаратом везде маячил, меня награждали, потому что на виду, да и почти каждый день наши корреспонденции шли.

А в Москве к Андрею тоже, видно, теплых чувств не питали...

Федот Сучков

«Он походил на сельскую местность»

Меня обычно спрашивают: как выглядел Андрей Платонов внешне? Какое впечатление у меня оставалось от встречи с ним? Не был ли он высокомерен, заносчив и так далее? Я отвечал на это словами самого Платонова, сказанными им об одном из его персонажей: «Он походил на сельскую местность». Ответ вроде несерьезный, но точный. Когда речь идет о творческом человеке, то внешность не играет никакой роли. Творческий человек может иметь любую наружность, потому что рост, шея, очертания рта — это категории уже другого рода. Внешность Платонова не поражала, она была обыкновенной, действительно, как сельская местность. Другое дело, что проступало за этим. Когда писатель чем-то восхищался, то внутреннее волнение отражалось в его глазах. Недаром он написал рассказ «Уля» про девочку, глаза которой видели одну правду. Но людей-то эта правда не устраивает. А Уля по-другому не может, и рада бы соврать, но у нее ничего не выйдет. Глаза Ули — это глаза самого Платонова, глаза художника. Если художник лжет, это уже не художник — обыватель, проходимец, халтурщик. Ложь спасительна для таких людей, но она враг для художника, она разрушит его. Надеюсь, что мне в какой-то степени удалось выразить внутренний мир Андрея Платоновича в скульптуре, сделанной для дома на Тверской, 25, где он жил более двадцати лет. Скульптуру

эту я сделал много лет назад. Сначала сделал бюст, он находился в квартире Платонова, у дочери, а потом, взяв его за основу, я сделал рельеф. Один из таких рельефов приобрел лет 10-12 назад Генрих Бёлль, большой поклонник Платонова...

Впечатление от Платонова было такое, будто разговариваешь с ровесником. Он не давял, разговор с ним протекал легко, без всяких усилий. Он был настоящий и в творчестве, и в жизни. Настоящий не может позировать, быть недоступным. Для него все естественно: слова, поступки, дела. Отдаленно Андрея Платонова напоминает его внук, сын его сына, скончавшегося от туберкулеза, Александр Павлович Зайцев. Почему у него другая фамилия и отчество, лучше всего объяснил бы он сам. Он живет в Москве, возле Измайловского парка. Лицо его имеет ту же застенчивость, которую имел его гениальный дедушка...

Хотя у меня судьба печальная и я прошел через сталинские лагеря, тем не менее мне во многом здорово повезло. Та же встреча с Платоновым. Мне было 24 года, когда я приехал в Москву из Сибири, из Минусинска, имея несколько стихотворений, рассказ, книжку афоризмов, и пошел в «Литературный критик». Он помещался, где сейчас Литературный институт, на третьем этаже. Я пришел к Розенталю, лохматому человеку с бельмом на глазу, и сказал, кто я такой, откуда и что хочу заниматься литературой. И оставил ему рукопись. Рукопись как-то попала к Платонову и понравилась. Я был счастлив. Приехать Бог знает откуда в столицу и оказаться на приеме у гениального писателя... Правда, это я потом осознал, потому что до этого ничего Платонова не читал, но он сразу мне понравился, когда я первый раз увиделся с ним...

А последний раз видел его так. Эвакуация, немцы прорвали фронт, несколько наших армий попало в плен в районе Брянска и Вязьмы. Москва была в растерянности. И вот 19 октября нас повезли в Ташкент, доехали до станции Кочетовка, где все было забито вагонами. Образовалась пробка, и наш поезд задержался. Я выхожу и вижу — идет Платонов, его жена и теща Платонова, которую он любил. Оказалось, что к нему в квартиру на Тверской бульвар пришли из определенной организации, заявили, чтобы он собирался на вокзал, и назвали вагон. Все ехавшие в этом поезде получили питание, а Платонов не получил ничего. Они ходили на базар, но ничего не могли купить. Деньги уже ничего не значили, а шел только обмен. Но так как я был влюблен в него в высшей степени, я побежал в ближайшую от станции деревню и выменял на кусок мыла булку хлеба и отнес Платонову.

На станции Кочетовка никаких литературных разговоров не было. Надо заметить, что Платонов не очень-то любил разговаривать на литературные темы. Запомнились его сжавшаяся, смятенная фигура, поношенный плащ, какая-то неловкость, что ли, стеснительность во всем облике...

Считаю, что для художника деньги или нищета не имеют значения, потому что все его богатство — внутри. Платонов действительно отличался от многих тем, что он не лгал. Он описывал жизнь такой, какой она была. И оказался прав. Ведь не многие верили, что сталинизм существовал. Я, например, считаю Сталина страшнее Гитлера потому, что все это происходило в собственном государстве. А тут кричат «ура» ему и плачут, когда он помирает. Платонов все-таки не надеялся, что будут напечатаны его главные вещи, хотя ведь «Чевенгур» был набран в «Молодой гвардии», я сам видел эти гранки сброшюрованными, до сих пор они целы. Я видел правку Платонова в этих гранках. Но он писал не для того, чтобы заработать копейку, ему важно было высказаться, излить с души. Это главное.

Мне и моему другу Фролову Платонов предложил написать сценарий к фильму о войне. Мы с удовольствием согласились, но и растерялись. Как писать о войне? во-первых, еще войну мы не знаем сами, правда, газеты читали и на соображение рассчитывали. У нас сразу же возник вопрос: с чего начать? А Платонов говорит: начните, как дети играют в похороны, будто они хоронят человека, убитого немецкой бомбой. Меня это поразило. Мне бы это не пришлось в голову. Вот этим и отличается Платонов от всех. Вроде бы все естественно, просто, но повороты, коллизии необычайны, нестандартны.

Платонов был преждерожденный. Не по темам, которые он брал из жизни, в которой жил, но по языку. Я изучал истоки его языка в русской литературе XX века и открыл при этом для себя Замятина, Ремизова, дошел до Лескова.

Он так же родился со своим языком, как Шаляпин с голосом, даже умением петь, владеть техникой этого голоса.

Евгения Таратута ПИСАТЕЛЬ НЕЛЕГКОГО ЧТЕНИЯ

Родилась я в Париже, но с шести лет живу в Москве. Любила очень книги, еще когда не умела читать, мечтала быть библиотекарем. И судьба связала меня с книгами, с литературой...

Платонов написал повесть «Впрок» («Бедняцкая хроника»), и она попала Сталину. Сталин зачеркнул «бедняцкая» и написал «кулацкая» и прямо через всю страницу: «мерзавец» или даже «сволочь». Это была сатира на коллективизацию, необычайно яркая и необычайно человеческая, и с этого началась трагедия Платонова, то есть фактически дорога в литературу ему была закрыта. Конечно, я этой страницы с надписью Сталина не видела, но поскольку я работала в журнале «Красная новь», то мне рассказывали сотрудники. Андрей Платонов уже, конечно, в редакцию не приходил, и я его там не видела. Фадеев, главный редактор, получил выговор за публикацию этой повести «Впрок» — единственный выговор за всю работу, и он написал статью «Об одной кулацкой хронике». Она была опубликована в «Известиях», а затем в самом журнале «Красная новь». Но были еще статьи Ермилова и других: «клеветническая повесть». Словом, ударили изо всех пушек по Платонову.

Я прочитала повесть, и она мне очень понравилась. Она предостерегала от перегибов в коллективизации, давала возможность оглянуться и увидеть, что делается вокруг. Вот этого-то Сталин и не хотел. Платонов печатался и в других журналах, например в «Октябре». Там каждый его рассказ, который появлялся до повести «Впрок», тоже вызывал бури...

С Платоновым лично я познакомилась в маленьком деревянном домике у Кропоткинских ворот, в Чертопольском переулке, где располагались редакции трех детских журналов — «Затейник», «Дружные ребята» и «Мурзилка». Редактором «Дружных ребят» был очень смелый, мужественный человек Володя Елагин, которому, несмотря ни на что, удавалось печатать Платонова, и Платонов приходил в эту редакцию. Приходило в Чертопольский переулок много известных писателей, поэтов. Например, членами редколлегии «Мурзилки» были А. Н. Толстой, С. Маршак. Надо сказать, что писатели в основном были хорошо одеты — в шляпах, красивых пальто, галстуках. Отправляясь в редакцию, каждый как-то прихорашивался. И вот среди них Платонов выглядел как существо из другого мира. У него был темно-синий москвошвеевский плащ, простая кепка. Лицо утомленное — лицо мастерового, труженика. Когда он приходил в «Дружные ребята», все, кто его любил, потихонечку собирались туда послушать его. Он продолжал писать, несмотря ни на что, потому что был писатель Божьей милостью.

Я-то впервые увидела его в феврале 1940 года. Он написал превосходный рассказ «В прекрасном и яростном мире», и вот «Дружные ребята» хотели напечатать этот рассказ. Но надо было что-то сократить, что-то переделать. Платонов на каждое вмешательство в его текст очень болезненно реагировал. Он говорил: «Нельзя иначе». Когда Володя Елагин его просил сократить, заменить слова, выбросить строчки — «Не могу иначе!» Рассказ все-таки был напечатан, но под другим названием — «Воображаемый свет». Мы в «Мурзилке» тоже хотели его напечатать, но для нашего журнала его стилистика все-таки была сложна.

Платонов очень дружил с моей давнишней подругой Катей Цынговатовой, которая была редактором Гослитиздата, и она впервые привела его ко мне в дом, а потом он и сам приходил. Он всегда приходил с двумя бутылками. Из одного кармана доставал бутылку водки, ставил на стол, из другого кармана плаща — бутылку с яблочным соком и говорил: «Вы, детский сад, со мной водку пить не будете, а одному мне скучно, так давайте вместе». Я-то только из ссылки, у меня посуды особой не было, но были граненые стопочки.

Никогда я от него не слыхала ни анекдотов, ни сплетен никаких. Он был как-то на порядок выше тех людей, которые были вокруг меня. У него никогда не было пустых слов, и речь его всегда отражала расположение к людям. Однажды он пришел ко мне и принес свою книжечку. Она только что вышла в Детиздате — «Июльская гроза», рассказ про детей, и написал книжку. Честно скажу, у меня несколько сот книг, подаренных мне писателями, но такой проникновенной, пронзительной надписи никто мне не делал: «Евгении Александровне, напомнившей мне мою несуществующую дочь, о которой я сожалею, что ее нет и не будет на свете. Платонов, Май 1941 года». И надо же так случиться, что у него в конце 1944 года родилась дочка. Ее назвали Машей, она стала художницей, работала в издательствах. Сейчас она готовит все издания отца к печати.

Судьба его сына требует отдельного рассказа. Мальчика посадили, когда он был школьником, и Андрей даже не знал, за что его осудили и отправили в лагерь. Тогда Платонов, который никогда никого ни о чем не просил, понял, что это тот случай, когда просить надо. Он был хорошо знаком с Шолоховым, который бывал у него дома, показал это письмо Михаилу Александровичу и стал умолять, чтобы тот спас сына. Спасти мог только один человек — Сталин. Шолохов бывал у Сталина. И вот в одну из таких встреч Шолохов рассказал о судьбе мальчика. Сталин распорядился произвести перерасследование. Тяжких больных тогда не отпускали, не амнистировали, а, как тогда говорили, — активировали. И вот следователь готовил материал на активирование. И надо же было такому случиться, что у этого следователя инфаркт и он умирает. Назначили другого следователя, и пришлось начинать сначала. Дело сильно затянулось, но все-таки он составил заключение об освобождении мальчика. Тоша вернулся домой уже на последнем градусе чахотки. Тут началась война. Все мои три брата пошли на фронт, а я должна была везти маму (она болела) из Москвы в Уфу. Приехали туда — и вдруг узнаю, что Андрей Платонович тоже в Уфе. Я нашла их адрес, пришла к ним в холодную комнату. Он сидел с Марией Александровной, не зная, что делать дальше. Но он там стал заниматься башкирскими сказками. Это его интересовало, а потом надо было на что-то и жить. Вскоре он уехал на фронт.

На какое-то время я его совсем потеряла. Прошли годы. И вдруг Платонов позвонил и сказал, что хочет прийти ко мне. Я была очень рада. Он пришел истомленный, больной. Сын уже умер. У самого Платонова открылся процесс в легких. Я работала тогда в президиуме Академии наук. Он принес мне сказку «Финист — ясный сокол» в своей обработке, вышедшую в Детгизе, и стал просить, чтобы я достала ему лекарство из Америки: тогда у нас против туберкулеза лекарств не было. Но что я могла сделать? У меня тогда никаких влиятельных знакомых не было. Из президиума Академии наук кто-то ездил в Штаты, но очень мало, и это люди совсем не моего круга. Я их не знала никого и не могла помочь.

Платонов остался в моей памяти как необыкновенный человек. Я бывала у него дома. В комнате стоял большой письменный стол. Он во все времена писал, хотя надежды на публикацию не было. Писал он карандашом на листах простой белой бумаги. Под столом у него стояла из ивовых прутьев большая бельевая корзина, и он эти листы бросал в корзину. Но когда предоставлялась хоть малейшая возможность что-то опубликовать, он доставал эти листы и начинал их редактировать, тщательно выверяя каждое слово. Все-таки те рассказы, те вещи, которые он публиковал сам, весьма отличаются от посмертных публикаций. Печатали его редко, где-то, что-то, чуть-чуть... Но я помню, еще перед войной у него были антифашистские рассказы. Он давал мне читать свой «Мусорный ветер» — антифашистский рассказ — и с

недоумением разводил руками: «Не печатают, ведь это антифашистский рассказ». (Очевидно, речь идет о рассказе «По небу полуночи». — *Ред.*) Это было время, когда Сталин с Гитлером заключили договор, когда Молотов целовался с Риббентропом, и, конечно, антифашистские рассказы тоже не могли быть напечатаны. Шолохов ему помог, благословил своим именем обработку русских народных сказок. Они так и выходили, где на титульном листе с именем Платонова стояло: «Под общей редакцией Михаила Шолохова». Этим Михаил Александрович давал возможность публиковать хотя бы сказки. После войны появились «Башкирские сказки» в обработке Платонова. Уже после войны он напечатал в «Пионерской правде» маленькую сказку «Две крошки». Крошка пороха и крошка хлеба: что важнее для людей? Через несколько дней в «Правде» был напечатан разгромный фельетон Рябова «К вопросу о порошинке». У меня есть эти вырезки — сказка Платонова и фельетон. Это был убийственный удар. Что, мол, это пацифизм, что ложь, что это нельзя для детей...

Хотя надо сказать, громили Платонова все время. После войны в «Новом мире» он опубликовал рассказ «Возвращение» (тогда он назывался «Семья Иванова»), и критик Ермилов страшно долбил его за этот рассказ. В общем, каждая вещь, которую удавалось напечатать, вызывала злобную ненависть в печати, следовал настоящий разгром. И фельетон Рябова в «Правде» — это было последнее, что Платонов прочитал в печати о себе. Его имя затем появилось уже лишь в некрологе. Правда, я его не видела, потому что в это время была в лагере, далеко на Севере. Газеты к нам стали поступать только в 53-м году.

Когда я вернулась, то обнаружила, что у меня чудом сохранились все книжки Платонова. Маме не на что было жить, и она продавала мои книги. Правда, сохранила книги Пастернака, которые у меня были, и все книги Платонова. Я счастлива, что они у меня остались. Счастлива и тем, что один из самых прекрасных русских писателей одарил меня своим доверием. Его «Чевенгур» (подумайте, написанный в 1928 году!) сейчас дошел до людей — через 60 лет! Его «Ювенильное море», «Котлован» написаны еще в тридцатые годы и пришли к нам, и стали необходимы. Мы поняли, каким богатством обладаем, потому что эти произведения о великом народе, это предупреждение о том, что подчинение диктатуре ведет к вырождению, гибели. Это писатель не легкого чтения, это писатель глубоких мыслей, глубоких чувств и великого мастерства. Великого! Так, как писал Платонов, не писал никто.

Одна из малых планет, открытая недавно Крымской астрофизической обсерваторией, названа именем Платонова. Конечно, это очень знаменательно, потому что для мира Платонова нет границ. И теперь вокруг Земли вращается кусочек мирового вещества, небольшая планета, которая называется «Платонов».

Публикация Вячеслава Орехова

Валентина Александровна Трошкина — младшая сестра Марии Александровны, жены А. П. Платонова

Давид Иосифович Ортенберг — генерал запаса, главный редактор газеты «Красная звезда» в 1941-43 гг.

Михаил Михайлович Зотов — полковник запаса, однополчанин А. П. Платонова

Федот Федотович Сучков — скульптор, литератор, долгие годы работал над скульптурным образом писателя. На доме, где жил Платонов (Тверской бульвар, 25), установлена мемориальная доска работы Ф. Ф. Сучкова.

Евгения Александровна Таратута — писатель, литературовед, критик.